

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО И ЗАБЫТОГО

20-го марта 1928 г.

Дорогая Вера Николаевна,

Вы незаслуженно добры ко мне. Это не фраза. Сейчас обосную. Если бы Вы любили мои стихи — или любили бы меня, — но ни тех, ни другой Вы не знаете (может быть, и знали бы — не любили бы!), — поэтому Ваш жест совершенно чист, с моей же стороны — ничем не заслужен. И, честное слово, в данную минуту, когда пишу, он совершенно затмевает (прочтите производя от света, наоборот) мне все то, что реально несет. Вроде как: когда есть такие хорошие люди — черт с деньгами.

Когда мне говорят: «хочу, но не знаю, выйдет ли» или «хотел, но ничего не вышло», я слышу только «хочу» и «хотел», — «ничего» никогда не доходит. — «Спасибо за хочу».

— Ну вот. А засим, со стыдом, как от всего денежного, которое ненавижу и которое мне платит тем же (кто кого переневадит: я ли деньги, деньги ли меня??), — вот прошение. И наперед, выйдет или не выйдет, — спасибо за хочу.

М. И.

— Да! Скоро выйдет моя книга «После России», все стихи, написанные за границей, я Вам ее пришлю, не давайте мужу, пусть это будет вне литературы, не книга стихов, Ваше со мной. Очень хочу, чтобы Вы ее как-то приняли, — а если ничего не выйдет, Вы мне тоже скажите: — Спасибо за хочу!

на — одна», т. е. как самая брошенная собака, не вообще-брошенная (тут-то ей и хорошо!), а к волкам брошенная. А м. б., я — волк, а они собаки, скорей даже так, но дело не в названии, а в розни.

А Вы, Вера, не волк, Вы — кроткий овец (мне кто-то рассказывал, что Вы все время читаете Жития Святых, — м. б., врут? А если не врут — хорошо: гора, утро, чистота линий, души, глаз, — и вечная книга...). Все лучшие люди, которых я знала: Блок, Рильке, Борис Пастернак, моя сестра Ася, — были кроткие. Сложно-кроткие...

ПОБЕДА ПУТЕМ ОТКАЗА

А природное, рожденное овечье состояние я — мало ценю. (Начав с коз, перешла к овцам!)

Итак, скоро увидимся? Радуюсь.

Хотела бы, Вера, долгий вечер наедине — как в письме. Но Вас люди съедят. Знайте, что на дорогах жизни я всегда уступаю дорогу.

Честолюбия? Не «мало», а никакого. Пустое место, нет, — все места заполнены иным. Все лстят моему сердцу, ничто — моему самолюбию. Да, по-моему, честолюбия и нет: есть властолюбие (Наполеон), а еще выше, le divin orgueil (мое слово — и мое чувство), т. е. окончательное уединение, упокоение.

И вот, замечаю, что ненавижу все, что любие: самолюбие, честолюбие, сластолюбие, человеколюбие — всякое по-иному, но все — равно. Люблю любовь, Вера, а не любие. (Даже боголюбие не выношу: сразу религиозно-

когда улыбается, лицо совершенно серьезное, точно не она улыбается.

Вот первые слова Мура, когда мы от Вас вышли. Я «Веру Муромцеву» и не поправляла, это и Вас делает моложе, и его приобщает, вообще — стирает возраст: само недоразумение возраста...

Жду большого письма. Обнимаю.

М. И.

26-го февраля 1934 г.

Дорогая Вера,

...Белого кончила и переписала до половины. 15-го читаю в Salle Géographie, предварительно попросив у слушателей — терпения: чтения на полных два часа. Но раз уж так было с Максом***: и просила — и стерпели...

Белый — удался. Еще живее Макса, ибо без оценок. Просто — живой он, в движении и в речи. Почти сплошь его монолог. Если Руднев не прельстится и надежды не печатать не будет — пришлю тетрадь, по «<отор>ой 15-го буду читать, потому что непременно хочу, чтобы Вы прочли. Он — настолько он, что не удивилась бы (и не испугалась бы!), вскинув глаза и увидев его посреди комнаты. Верю в посмертную благодарность и знаю, что он мне зла — никогда не сделает. Только сейчас горячо жалею, что тогда, в 1922 г. в Берлине, сама не сделала к нему ни шагу, только — соответствовала. Вы это поймете из рукописи. У меня сейчас чувство, что я могла бы этого человека (?) — спасти. Это Вы тоже увидите из рукописи.

«ОНА МНЕ ПИСАЛА...»

«Я — годы — дружу с Верой Буниной, урожденной Муромцевой... Она мне писала, я отзывалась — и пошло, и продолжается, и никогда не кончится — ибо тут нечему кончаться: — все — вечно».

Так охарактеризовала в 1935 году Марина Ивановна Цветаева свою эпистолярную дружбу с Верой Николаевной Буниной (1881—1961), женой И. А. Бунина. Переписка началась во Франции весной 1928 года и продолжалась без малого десять лет. Возникла она на почве общих воспоминаний о доме известного историка Д. И. Иловайского, на дочери которого первым браком был женат отец Цветаевой. Внучка Иловайского, Валерия (единокровная сестра Марины Ивановны) и Вера Николаевна были подругами. Очерк Буниной «У Старого Пимена» появился в печати в 1931 году, «Дом у Старого Пимена» Цветаевой — в 1934 году (в СССР впервые опубликован в седьмой книжке журнала «Москва» за 1966 год). Воспоминания Цветаевой предвещают посвящение: «Вере Муромцевой, одних со мной корней».

Как следует из первого письма, Вера Николаевна высоко ценила поэзию Марины Ивановны (сам Бунин весьма критически относился к творчеству Цветаевой).

В целом публикуемые ниже письма представляют собой своего рода образец цветаевской прозы, в очередной раз являя нам ее самобытность и неповторимость. Интересны и сведения о литературной жизни русского зарубежья. Письма печатаются с некоторыми сокращениями.

Письма М. И. Цветаевой к В. Н. Муромцевой

Вера МУРОМЦЕВА.

Марина ЦВЕТАЕВА.

19-го авг<уста> 1933 г.

Дорогая Вера Николаевна,

...первое, что я почувствовала, прочтя Ваше письмо: СОЮЗ. Именно этим словом. Второе: что что бы ни было между нами, вокруг нас — это всегда будет на поверхности, всегда слой — льда, под которым живая вода, золы — под которой живой огонь. Это не «поззия», а самый точный отчет. Третье: что бывшее сильнее сущего, а наиболее из бывшего бывшее: детство сильнее всего. Корни. Тот «ковш душевной глубины» («О детство! Ковш душевной глубины» — Б. Пастернак), который беру и возьму эпиграфом ко всему тому старо-пименовскому — тарусскому — трехпрудному, что еще изнутри корней выведет на свет. Долг. Редкий случай радостного долга. Долг перед домом (лоном). Знаю, что эти же чувства движут и Вами.

Слушайте. Ведь все это кончилось, и кончилось навсегда. Домов тех — нет. Деревьев (наши трехпрудные тополя, особенно один, гигант, собственноручно посаженный отцом в день рождения первого и единственного сына) — деревьев — нет. Нас тех — нет. Все сгорело дотла, затонуло до дна. Что есть — есть внутри: Вас, меня, Аси, еще нескольких. Не смейтесь, но мы ведь, правда, — последние могикане...

Поймите меня в моей одинокой позиции (одни меня считают «большевичкой», другие «монархисткой», третьи — и тем и другим, и все — мимо) — мир идет вперед и должен идти: я же не хочу, не НРАВИТСЯ, я вправе не быть своим собственным современником, ибо, если Гумилев:

— Я вежлив с жизнью современной...

— то я с ней невежлива, не пускаю ее дальше порога, просто с лестницы спускаю...

А если у меня «свободная речь» — на Руси речь всегда была свободная, особенно у народа, а если у меня «поэтическое своеволие» — на то я и поэт. Все, что во мне «нового», — было всегда, будет всегда. — Это все очень простые вещи, но они и здесь и там одинаково не понимаются. — Домой, в Трехпрудный (страна, где понималось — все)...

До свидания. Жду. И письма и встречи — когда-нибудь. Вы зимою будете в Париже? Тогда — мне — целый вечер, а если можно, и два. Без свидетелей. Да? Обнимаю. М. И.

Рада, что Вам понравился Волошин. У меня много такого. Ваш отзыв из всех отзывов — для меня самый радостный. Сердечный привет от мужа, он тоже Вас помнит — тогда.

20-го ноября 1933 г.

Милая Вера,

Ваше письмо такое, каким я его ждала, — я Вас знаю изнутри себя: той жизни, того строя чувств. Вы мне напомнили Блока, когда он узнал, что у него родился сын (оказавшийся потом сыном Петра Семеновича Когана, но это не важно: он врился). Вот его слова, которые я собственными глазами читала: — «Узнав, не обрадовался, а глубоко — задумался...»

А что Вы лучше одна, чем когда Вы с другими, — Вера, как я Вас в этом узнаю, и в этом узнаю! У меня была такая запись: «Когда я одна — я не одна, когда не-од-

философские собрания, где все, что угодно, кроме Бога и любви)...

М. И.

5-го февраля 1934 г.

Дорогая Вера,

разрываюсь между ежеутренним желанием писать Вам и таким же ежеутренним — писать о Белом, а время одно, и его катастрофически-мало: проводив Мура* в 8½ ч. — у меня моего времени только 2 часа — на уборку, топку, варку и писанье. Вы понимаете, как все это делается (по молниеносности и плохости). Потом — провести его подышать, потом завтрак, потом посуда, потом опять в школу, и опять из школы, и поить его чаем, и т. д., а вечером — голова не та, слова не те.

Вера, был совершенно изумительный доклад Ходасевича** о Белом: ЛУЧШЕ НЕЛЬЗЯ. Опасно-живое (еще сорокового дня не было!), ответственное в каждом слове — и справился: что надо — сказал, все, что надо, — сказал, а надо было сказать — именно все, самое личное — в первую голову. И сказал — все: где можно — словами, где невозможно (НБ! так наши польские бабушки говорили, польское слово, а по-моему, и в России, в старину) — интонациями, голосовым курсивом, всем, вплоть до паузы.

Дал и Блока, и Любовь Дмитриевну, и Брюсова, и Нину Петровскую, и, не назвав, — Асю: его горчайшую обиду (я — присутствовала, и мне тоже придется об этом писать: как?? Как явить, не оскорбив его тени? Ведь случай, по оскорбительности, даже в жизни поэтов — неслыханный). Дал и Белого — Революцию, Белого — С.С.С.Р., и дал это в эмигрантском зале, сам будучи эмигрантом, дал, вопреки какому-то самому себе. Дал — правду. Как было.

И пьяного Белого дал, и танцующего. Лишнее доказательство, что большому человеку — все позволено, ибо это все в его руках неизменно будет большим. А тут был еще и любящий.

Вся ходасевичева острота в распрямлении на этот раз — любви...

Не знаю, м. б., когда появится в Возрождении (не важно, в чем: на бумаге), многое пропадет: вся гениальная интонационная часть, все намеренное словесное умолчание, ибо что многоточие — перед паузой, вовремя оборванной фразой, окончание которой слышим — все.

Зато в лицо досталось антропософам, и, кажется, за дело, ибо если Штейнер в Белом действительно не увидел исключительного по духовности человека (-ли?) — существо, то он не только не ясновидящий, а слепец, ибо плененного духа в Белом видела даже его берлинская Frau Wirth.

Словом, Вера, было замечательно. Мне можно верить, п<отому> ч<то> я Ходасевича никогда не любила (знала цену — всегда) и пришла именно, чтобы не было сказано о Белом злого, т. е. — лжи. А ушла — счастливая, залитая благодарностью и радостью...

— Мама! До чего Вера Муромцева на Вас похожа: вылитая Вы! Ваш нос, Ваш рот, и глаза светлые, а главное,

* Так М. И. Цветаева называла своего сына Георгия. ** Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1936), русский поэт. Здесь речь идет о его докладе на вечере, посвященном памяти Андрея Белого.

Из всех слушателей радуюсь Ходасевичу. Я ему все прощаю за его Белого...

Милая Вера, берегите свое сердце, упокаивайте его музыкой. Ужасное чувство — его самостоятельная, нежданная для вас — жизнь. Об этом еще сказал Фет:

Я в жизни обмирал — и чувство это знаю.

И я — знаю. И Рильке — знал. Сердце нужно беречь — просто из благодарности, за всю его службу и дружбу. Я свое люблю, как человека. Ведь оно за все платится, оно вывозит. И умри я от него завтра — я все-таки скажу ему спасибо. За все...

М. И.

28-го августа 1935 г.

Дорогая Вера,

я знаю, что мое поведение — совершенно дико, но знаю также, что я совершенно взята в оборот фавьерского дня. Во-первых — у меня нет твердого места для писания, во-вторых — при твердости места — отсутствие твердого стола: их — два: один — кухонный, загроможденный и весь развешивающийся от малейшего соприкосновения, к тому же — в беззаконной комнате, живущей соседним окном, другой — на к<отор>ом сейчас пишу, — плетеный, соломенный, стоящий, только когда изо всех сил снизу подпираешь коленом, т. е. — весь какой-то судорожный. С этим столом я в начале лета таскалась в сад — пока Мурдем спал — от 2 ч. до 4 ч. — но это была такая канитель: то блокнот забудешь, то папиросы, то марки у Мура остались, кроме того — в двух шагах кверху — тропинка, по... <которой> весь Фавьер на пляж или с пляжа — и все слышно, все отрывки, и я сама — видна, а я никогда не умела писать на людях, — словом, я совершенно прекратила писать письма, — только Сереже — коротенькие листочки.

Конечно, будь я в быту нрава боевого — я бы добилась стола, и мне даже предлагали ходить на соседнюю дачу, — но это — душевно сложно: похоже на службу — и все те же сборы: не забыть: блокнот, марок, портсигар, зажигалки (не забыть налить бензин), — тетради на всякий случай (вдруг захочется перечитать написанное утром) — и т. д. Нет, стол должен быть — место незыблемое, чтобы со всем и от всего — к столу, вечно и верно — ждущему. (Так Макс возвращался в Коктебель)...

Словом, у меня третий месяц нет своего угла, и поэтому я очень мало сделала за это лето, хотя как будто было много свободного времени. (Вот сейчас пишу Вам вместо стихов, т. е. утром, и к тетради за весь день уже не прикоснусь: не смогу. Т. е. буду таскать ее на пляж, и буду сидеть с ней на коленях на своей скворешенной лестнице, но в лучшем случае — несколько строк. Повторяю: без стола — не могу, не говоря уже о карандаше: символе бренности и случайности)...

Теперь — о другом. За последние годы я очень мало писала стихов. Тем, что у меня их не брали, — меня заставляли писать прозу...

*** Волошин Максимилиан Александрович (1877—1932).